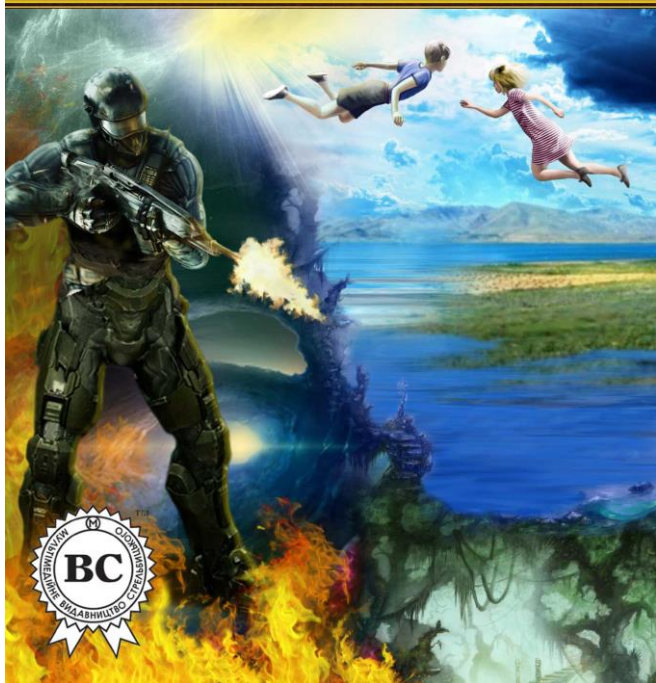




Владимир Зенкин

ГОРОД ЗГА



Зга — таинственный и мистический город, который пугает чужаков, но может щедро одарить тех, для кого он стал родным домом. Многие из тех, кто в нем вырос, наделены особыми сверхчеловеческими качествами, им становится доступным то, что не доступно обыкновенному человеку. Ведь Зга — это не просто город, это феномен, явление, недостижимое для понимания и объяснения.

Главные герои философского фантастического романа «Город Зга», вынужденно покинувшие Згу еще в подростковом возрасте, решают выяснить судьбу своего города, который к тому времени признан правительством смертельно опасным объектом.

Роман Владимира Зенкина — книга не о выдуманных фантастических мирах, он о человеческих чувствах и отношениях — настоящих, земных, сегодняшних.

Владимир Зенкин

Город Зга

Валентине
Позавчера... завтра

*Говорю вам тайну: не все
мы умрём, но все изменимся.*

**Новый Завет. Первое
послание к корифянам**

Глава первая

*— Пойди к ним на рассвете
и скажи тайное утешение.*

Иван Ефремов

1

И лишь следующей ночью явились всему мера и смысл. Ночью возник во мне Мик Григорьич.

— Мик Григорьич, дорогой! — радостно возопил я, — Как я счастлив вас видеть! Вы за

двадцать лет ни разу не снились мне.

— Я тебе и сейчас не снюсь, глупый мальчишка.

— Что?! Значит опять? Значит, вы снова... здесь, в нашем реале? В прежнем облике?

— Ты всё ещё видишь меня прежним?

— Хотел бы... видеть вас прежним, Мик Григорьич, — смутился я, — Очень хотел...

— Ну вот. Что и требовалось доказать.

— Наверное, я что-то забыл, да?

— Конечно, забыл. За двадцать-то лет. Ну а кто я вообще, ты, надеюсь, помнишь? — усмехнулся Разметчик.

— Обижаете, Мик Григорьич.

— То-то. Разметчик — не поводырь. Ты сам скоро не сможешь быть прежним. Быстрее понимай.

* * *

Следующей ночью... А до того были утро и день. Поздним утром вдруг нагрянул участковый инспектор милиции и забрал мой паспорт.

— Для чего? — подозрительно спросил я, разглядывая инспектора. Белобрысый веснушчатый лейтенантик с неожиданно аполлоновым профилем и романтической ямкой на подбородке. Ямка была совершенна. «Наверное, девушки влюбляются

сперва в эту ямку, а потом уже в остального лейтенанта», — подумалось мне.

— Перерегистрация, — туманно ответил инспектор, оглядывая мою холостяцкую берлогу, — Через неделю вернём.

— Какая ещё перерегистрация? — упирался я, — Не слышал ничего. И почему вы, а не паспортистка?

— Потому что так надо, — дружелюбно вздохнул лейтенант, — Вы не беспокойтесь, ни в чем к вам ни малейших претензий. Пустые формальности... можно сказать.

— Покажите ваше удостоверение.

— Ради Бога.

Я не унялся, разыскал телефон, позвонил в райотдел милиции подполковнику Мышкису, спросил, действительно ли данный лейтенант уполномочен забрать мой паспорт.

— Да, — задушевым бархатом ответил подполковник, — Будьте благоспокойны. На несколько дней. Ничего страшного. Но искренне просим вас («Силы небесные — сколь галантно милиция наша вдруг заворковала!»), постарайтесь, пожалуйста, на это время надолго не отлучаться из дома. А уж, тем более, из города. Из города вообще не надо. Нет, что вы, никоих к вам подозрений! Нет, что вы, никаких подписок о невыезде! Всё в отменном благопорядке. Но всё-таки...

постарайтесь.

Недоуменно пожимая плечами — что это ещё за тайны мадридско-милицейского двора — я отдал паспорт. Зря.

* * *

...— Почему так, Мик Григорьич? Так несправедливо. Вы же знали. Вы могли тогда... воспрепятствовать. Не позволить всем обмануться.

— Ты рассуждаешь, как лентяй-обыватель. А ещё лучший мой ученик.

— Какой, к черту, лучший! Раз я уехал... Я тоже думал, что можно стать счастливым без Зги.

— Многие стали счастливыми.

— Ну ещё бы! Такие условия. Никогда никого не переселяли на таких условиях. Лучшие города, включая столицу. Прекрасные квартиры, особняки. Выгоднейшее трудоустройство. Да ещё льготы какие-то высосали из пальца. Подозрительная щедрость. Это в нашем-то Отечестве.

— Зга — не город. Зга — явление. Не для всех.

— Да. Но увезли-то всех.

— Чтоб отстранились. И слава Богу, если отстранились. Пусть живут спокойно. Пока.

— А кто не смог? Кто остался сподобным?

С Юраном мы встречаемся в четыре на Ласокском вокзале. Юран уже ждал меня на ступенях под колоннадой.

— Ты какой-то расстроенный, — заметил он.

— Все в порядке, — бодро плеснул я ладонью, — Где мы сегодня, на третьей?

— Давай на третьей.

Мы пересекаем огромный, кишачий озабоченным людом, вестибюль, спускаемся в подземный переход, ведущий к платформам. Трижды в неделю мы с Юраном играем на перроне перед поездами. Юран — солирующая скрипка, я — кларнет-аккомпанемент. Аранжировки Юрана. Инструменты тоже его. Он — профессионал, когда-то играл в филармонии в камерном оркестре. Ушел оттуда по причине каких-то внутренних интеллектуальных дрызг. Он избегал говорить об этом. Возможно — по причине своего въедливого характера. Ещё возможней — из-за элементарного пьянства. Впрочем, и сам оркестр вскоре после того благополучно скончался без зрителей и без зарплаты. Я — дилетант-любитель, выступал только в студенческой самодеятельности. Но Юран мной в общем доволен. За год он меня многому обучил, разыграл и приладил к своей игре весьма недурно, заставил понимать себя с полувзгляда и

полузвука.

Даём концерты на вокзале. Нормально. Встаём на перроне в сторонке, подальше от репродуктора и от людских стремнин. Поезда приходят — уходят. Перрон захлёстывается народом — опустевает. Играем. Спокойно, негромко, себе в охотку. Какая корысть? Никакой корысти. Леди Музыка лишь. А что на газетке на асфальте футляра кларнетного вишнево-бархатный запах-намёчек, так то почти что и случайность. Внимания можешь не обращать. А обратишь, кинешь монетишку — не обидимся, будь здоров и счастлив, отъезжающий-встречающий человеке. Леди Музыка с тобою, верна-благородна. И потребна тебе много более, чем полагаешь.

Первое время донимали вокзальные упыри-мздоимцы, один деловее другого. Расчислили истинного деловаря-уполномоченца, обтолковали четкий отстёг, делимся с ним. Самозванная шушера враз испарилась. С ментовской патрульней тоже делимся, но тут четкости нет, кто понаглей — тому больше. Себе остаётся когда как, в пределах червонца на брата. Бывало — по два. Случалось — по нулям. Не Бог весть, какая работа. Но — работа. Не чересчур жирен доход. Но — доход.

Однако сегодня концерта у нас не вышло. Едва успели расположиться, расчехлить,

опробовать инструменты, настроиться на игру, как к нам подошли трое. Знакомый двухсержантный милицейский патруль, многожды прибыльно для себя встречавшийся с нами на вокзальных перронах. Третий — неведомый полубоксовый затылок в чёрном костюме. С плечами, проламывающими пиджак. Затылок вежливо, но недвусмысленно предложил нам убраться.

— Прошу прощения, — завозражал я, обращаясь не к Затылку, а к патрулю, — Кому мы мешаем? Мы же приличные люди. Договоримся...

Патруль безмолвствовал. Затылок, не снизойдя до объяснений, повторил свою фразу.

— Но на каком основании? Что, у нас в стране введено чрезвычайное положение? — лез я на скандал.

Благоразумный Юран дернул меня за рукав.

— Не исключено, что кое для кого и чрезвычайное, — невозмутимо ответил Затылок, — Впрочем, вы можете остаться, — повернулся он к Юрану, — Вам не возбраняется.

— А мне? — опешил я, — Мне?.. По какому праву?

— К вам тоже никаких претензий, — Затылок с интересом разглядывал кларнет в моих руках, — Но вам временно... Вре-мен-но не следует находиться на вокзалах, в аэропортах, автостанциях и прочих местах, связанных с прибытием-отбытием

транспорта.

— Я никуда не отбываю и не прибываю, — огрызнулся я.

— Тем не менее, — терпеливо, тем же ровным вязким голосом сказал Затылок, отчего-то избегая взглядывать мне в глаза, — Кто знает... А вдруг вы нырнёте в отъезжающий восточный поезд и...

— Что и? — искренне недоумился я, — Почему в восточный?

— Ничего. Нельзя. Есть причины.

— Что? С какой стати? Какие причины? Я требую объяснений. Я пока ещё свободный человек.

— Пока ещё — да, — с задумчивой угрозой сказал Затылок. Это меня окончательно взорвало. Я забыл про всякую осторожность.

— Слушайте, вы! Кто вы там, не знаю и знать не хочу. Когда вы предъявите ордер на мой арест или основание для моего задержания, тогда я уйду отсюда. А пока я могу оставаться, где пожелаю.

— Затылок тоже озлился, отбросил дипломатичность.

— Когда я предлагаю уйти, — чугунная лапа его легла мне на плечо, — граждане не уходят. Граждане удаляются рысью, переходящей в галоп. Потому что, в противном случае — я могу продолжить знакомство в другом, плохо оборудованном для счастья месте. И никаких

ордеров мне для этого не потребуется. Запомни, «свободный человек». Если ты ещё хоть раз вякнешь!..

Мы встретились с ним взглядами, и букет взгляда его состоял из обычного для подобных типов профессионально-кланового: бесчувствия-превосходенья, всеможности, серого стального напора.

Но вдруг в них, в легированных глазах этих юркнул зайчик утлого страха, пятнышко желтой паники, беспричинной, безлогичной, от этого — неуправимой. Мелькнуло и сгнуло, и Затылок отвел взгляд. И я понял, что я... что из меня это, из моих что-то глаз...

— Уберите руку, — сказал я.

Затылок убрал. Медленно, не сразу. Убрал.

Они втроём торчали перед нами и ждали. Мы переглянулись и стали укладывать инструменты.

* * *

...— Каждый сам. Вникай снова. В себя. Хватить жить в глухоте.

— Я жил, Мик Григорьич. Я двадцать лет жил! Один я? Предопределение? Двадцать лет — прахом! Я виноват? Я. Нет спора. Но...

— Ты был честолюбив. Талантлив. Притяжен к конкрету. Ты отвернут был от себя. Ты хотел

скорей состояться. Здесь. В ортодоксе.

— Хотел... Я — нуль, Мик Григорьич. Со всеми своими талантами, образованностью, складом ума. Нуль! Без работы. Без идей-целей. Без семьи. Без злости на себя, способной поднять человека. Полуалкоголик-интеллигент. Играю на вокзале для пропитания и для...

— Знаю я.

— Откуда, Мик Григорьич? Ах да...

3

Пол-литруха «Столичной». Литровый флакон какого-то лимонадообразного пойла. Четыре помидора. Триста грамм порезанной колбасы. Свежий, ещё теплый батон. Два пластмассовых стаканчика. Джентльменский экспресс-пикниковый набор в пакете. Пакет у Юрана. Я несущу чехлы с инструментами.

Предложение поехать ко мне, посидеть без помех после колебаний было отвергнуто Юраном — далековато всё-таки ко мне добираться. Предложения пойти к Юрану не возникло вовсе, Юран, в отличие от меня, был счастливо отягощён женою и двумя пацанами-младшешкольниками весьма не херувимской кроткости, вряд ли мы плавно вписались бы в данный семейный интерьер. Решено было спуститься к речке Закорючке

(прозванной так за рваненькое извивистое русло), там и расположиться на травке под укывом зелёных куш. Душевную смуту, вызванную вокзальным инцидентом, надлежало утишить-пригасить вековечным способом.

Мы шли к спуску мимо двух новых свежеселённых близнят-шестнадцатизэтажек. Вокруг ещё не убрали строительный хлам. Огрызки бетонных плит под окнами, сломленный пополам лестничный пролёт, некрашенная деревянная будка, небрежно сложенные в стопу сетчатые оградительные щиты.

Среди привычного новосельного хаоса резвились дети.

Многэтажность вообще неприятна моей душе. Я не люблю высь, я люблю ширь и долгие годы житья в гигантском городе не изменили меня. И теперь, проходя мимо серых небоскрёбчиков, задрав голову, я без восторга обозревал бетонные оборки балконов, верхние окна, отражающие блики предзакатного неба, и думал — хорошо, что моя квартира на первом этаже. Жить там, в душевном висте меж землёю и небом — увольте.

Меня привлек маленький, еле различимый белый комочек на подоконнике последнего этажа. Котёнок? Оконная створка была приоткрыта внутрь, котёнок сидел на краю и смотрел вниз.

— Видал героя? — показал я пальцем

Юрану, — На самом краю сидит, дурило. Сдует сквозняком. Или спихнёт рамой. Куда хозяева смотрят?

И через пару секунд произошло именно то, что я беззаботно предположил.

Оконная створка дёрнулась от резкого сквозняка, возможно, при закрывании входной двери и столкнула котёнка.

Он успел, извернувшись, уцепиться коготками за край подоконника, повисел, дрыгая задними лапками, ища опоры, с тонким бессильным мявом сорвался вниз.

— Ах ты ж! — сокрушённо выдохнул Юран, дёрнулся, было, поймать, понял — не успеет. Никто не успеет.

Котёнок ещё не умел группироваться и управлять своим тельцем, он летел, кувыряясь, как плюшевый пупс.

«А н-ну-у!..» — вдруг стиснулись зубы мои, и по спине брызнул льдистый озноб, и взгляд, вцепившийся в белого смертника, стал жёстким, стеклянистым, и боль-напряженье просыпалась в затылке, и взбарабанила кровь в висках...

В обрывок секунды во мне без меня стряслось это, и падение котёнка примерно на высоте четвёртого этажа стало быстро замедляться, словно он упал в прозрачный кисель. Кувырки его прекратились, он приземлился на бетонную

отмостку, как под парашютом, всеми четырьмя лапками. Стоял, мелко дрожа, тараща глаза-бусины на подбегавших детей.

Я тёр затылок, разгоняя крапины боли.

Юран ошарашено уставился на меня.

— Что? Эт-то... Это — ты что ли? Н-не понял...

— Похоже, я, Юрик. Сам не понял ещё. Впервые такое.

* * *

...— Ничего не зря, — говорите вы. Но я не сделался ни сильнее, ни мудрей, ни добрее. Даже ждатель не научился.

— Ну кое что всё же понял ты, я полагаю.

— Вы о чем, Мик Григорьич?

— Да продолжение всё тех же простых истин. Из твоей юности. И наверное, ещё одна. До которой уж ты-то должен был прийти.

— Не знаю. Не шёл я никуда, я топтался на месте.

— Обязан был. Ты жил только разумом. Гуманными амбициями. Никакой порядок разума не переходит в страсть. Без побудительной искры. Разум — скаляр. Страсть — вектор. Движитель. Где твоя искра, куда ты дел её? Сподобен, говоришь? Это нужно теперь доказать. Ибо Зга, её смысл —

всё-таки, в тебе. Как и в других, немногих.

— Мик Григорьич, помилуйте, погодите! Осените меня или дайте самому проститься. Я стал глупее, чем был, мне нужно время.

— Нет у тебя больше времени.

4

Нетвёрдой походкой поплёлся домой Юран. Я стоял на троллейбусной остановке, смотрел ему вслед. Его спина была почти пряма, почти беззаботна. Но беззабота эта — водочкин лукавый подарок, надолго ли достанет её? А там опять с утра, а то и с вечера за порогом родного дома прежний муторный неустрой, прежние ржавые черви, сверлящие душу, мозг где бы что заработать, какую б халтурку словить. Случайные заработки — препаршивая вещь, по себе знаю. Сегодня вдруг подфартит, отломится приличный кус, а завтра — хоть харей об стенку, хоть подыхай с голодухи, хоть бутылки ходи ищи по помойкам. Мне-то ладно, а ему каково с семьёю? Это при всём при том, что Юран — музыкант класснейший, аранжировщик от Бога. Ему бы гастролировать по заграницам с каким-нибудь оркестром виртуозов. А он — на вокзалах или, коль вдруг посчастливится, в третьесортных кабаках-гадюшниках на подменах. Жена его продавщица, холодная лотошница.

Постоянный заработок, повезло. Ух, повезло! — у неё тоже консерватория за плечами плюс девять лет педагогичества в музыкальном училище. Стране нужны лотошницы, а не нужны музыканты. Такая замысловатая страна.

Юран дошагал до перекрёстка, обернулся, бодро, слегка качнувшись, махнул мне рукой на прощанье, исчез за поворотом.

Подошёл мой троллейбус. Протолкавшись к заднему окну, почти упершись лбом в стекло, я бездумно следил за убегающим назад сумеречным асфальтом.

Я был досадно трезв, водка не взяла меня сегодня, не пошла; с трудом осиленные пол-стакана — явная для меня аномалия.

Наверное поэтому в голову мне лез всякий выпренный вздор. Насчёт того, что путь наш жизненный, ни есть ли он, как этот текущий назад щербатый тёмный асфальт, и зреть дано нам его лишь в окно заднего вида, и спиною неотвратимо сидим мы к грядущему нашему, даже если сидим лицом, вцепясь в руль, в блаженном наиве, что подвластна нам и управима нами наша судьба-шарабан-троллейбус; спиною-спиною — и ведомо нам лишь откуда уехали, а вот при-едем куда — Бог весть. И гнать-понукать судьбу, и роптать за смутный норов её и за ненежность к нам, её везомым, стоит ли, не зная причин пути и срока

Конечной Станции. Может, лишь в миге последнем эти причины и открываются нам и принимаются нами бессомнительно, просветленно.

Ты не согласен со мной, ох не согласен, жизневелитель, сноб, крепыш-здоровяк; брито-полированный (крутая мода) череп, густое золото нашейной цепи, серьга-бриллиант в ухе, бескариесные, мерно терзающие жвачку челюсти, нехилые отливки плеч под тенниской, сильные пальцы на руле суперновенького «Бьюика» — блескуче фиолетовой зверины с красивым змееньем эмалевых цветно-пламенных языков на борту и на крыше.

На обгон, на обгон тебе б, да троллейбус глуп, не даёт, не жмётся к обочине, да встречное движение плотно, как назло. Но выбрал-таки момент, рывкнул, отогнал вправо лопуха-троллейбуса, прошевелил губами нелестное в адрес водилы, мощно рванул вперёд, исчез из заднего стекла, из моего обзора.

Ах и увы, а ну как, зря поспешаешь ты невесть куда, а ну как, вовсе не так кротка, не так глянцеви́та фортуна твоя, как преданный «Бьюик»! И извечным манером, спиною вперёд едешь ты с резино-незрячим лицом на затылке. И путь твой оставшийся отчего-то не длинен. И много ранее, чем ожидаешь, твоя Конечная Станция, где выходить тебе и обращаться в ничто. Почему-то

вдруг так показалось мне, отзвякнуло во мне, глядячи на тебя через заднее несвежее стекло. Уж извини, может, ошибся...

Эти досужие никчёмные измыслы ещё более испортили моё настроение. Мне вдруг расхотелось ехать, я вышел из троллейбуса возле моста через Ильту. Я дошагал до середины моста, до места, где я любил останавливаться, облокотясь на чугунные перила, стал смотреть в тёмно-ртутистую вечернюю воду. Могучая ре-ка казалось неподвижной, но я знал, что течение её достаточно быстро. Только с высоты оно незаметно, упрятано под верхний слой воды. И в течении тёплые и холодные струи почему-то не смешивались, что доставляло неприятности, даже опасности купальщикам. А мне река нравилась. Скрытный, непанибратский характер был у Ильты. Под стать моему.

То что река была не просто устремлённой к морю водой, но, бесспорно, одушевлённым, воспринимающим меня явлением, я знал всегда и чувствовал это во время каждой нашей с ней встречи. Но сегодня я почувствовал иное. Ещё была одна страннейшая одушевленность — не река, не человек, не животное, не птица. Что-то наблюдало меня, стоящего на тёмном мосту. Что-то... Я поднял взгляд от воды и столкнулся с его близким взглядом. Не было глаз, не было лица, не было тела. Был взгляд. И мысль взгляда. Адресованная мне.

Недоступная. Лёгкое карминовое сиянье, искристая дымка парила над водою против моста, из дымки слышался колокольцевый звон. Звон, вернее, обернутые в звон какие-то причудные импульсы-посылы текли ко мне, слегка дурманящие, томительные, они собирались и усваивались мною, неизвестной мне частью меня. При полном недоумении разума и сознания.

Я ничуть не испугался, я лишь напрягся для хоть мало-мальского осмысления Этого. Осмыслить не смог, смог вспомнить. Это было уже со мною. Давно. В детстве. Там. Только тогда я был попонятливей. Тогда я воспринял Это совершенно естественно. И я мог говорить, общаться с Этим. А ну-ка...

Я дурачковато-приветливо улыбнулся Этому, — Эй, здравствуй! — и предложил, — А может быть, ты парусник? А? В самом деле...

Сияние подумало несколько секунд и приняло форму кораблика с парусом, но почему-то стоящего на корме, носом вверх, и парус был надут в противоположную сторону.

— Эй, а может быть, ты звездолёт?

Сиянье быстро превратилось в сложной конфигурации космический корабль. Но из туловища корабля почему-то торчали и плавно шевелились весла, как на галере.

— Нет, наверное ты, всё-таки,

шапка-ушанка, — веселился я.

Передо мной охотно возникла мерцающая шапка, натянутая на тыкву с усохшим хвостиком вместо носа, с пятнами глаз и губ и даже с некоторым выражением, обидно смахивающим на моё.

— Спасибо. Ехидная ты штукавина.

Мы ещё поиграли в загадайки. Оно принимало предложенные мной образы, но дополняло, насмешливо искажало их. Совсем как тогда... Правда, тогда мои образы были ярче. А его образы были веселей, ласковей. И что-то ещё было... Да! Конечно. Было. Тогда я смог войти в Это. Слиться с Этим. А сейчас?

Я протянул руки к сиянью, зовущее раскрыл ладони.

— Давай! Иди сюда. Я прошу тебя! Я помню тебя. Я верю. Я — всё тот же. А?

Мне было слегка неудобно. Но я, пересилив себя, изобразил лицом идиотическое радушие и беспечность. Что будет?

Сиянье приблизилось почти до моих растопыренных пальцев, концы пальцев запощипывало, будто слабым электричеством. Остановилось в раздумье и вновь отплыло назад. Покачало мне головой... головой — именно так воспринял я, хотя никакой ни головы ни туловища в помине не было, — Нет, мол, парень, слишком

много хочешь. Как-нибудь в другой раз.

Я вздохнул. Скорей облегчённо, чем сожалительно.

Сколько я так стоял посреди моста перед виденьем? Может, десять минут, может, час... Но заохал, забормотал, выкарабкиваясь из-под обвала впечатлений, мой опасливый взрослый рассудишко: «Господи, да откуда же это? Здесь? Там, тогда — ладно... Но здесь... У тебя галлюцинации? Белая горячка? Нет, до этого ты ещё не допился, это впереди. Ты больной, ты псих уже, может быть? Очнись! В чем дело? Приди в себя!»

Со мной поравнялась слипшаяся в объятых парочка.

— Прошу прощения, — обратился я к парню, — Посмотрите, пожалуйста, вон туда, — показал рукой, — Видите там что-нибудь?

Парень с любопытством, не отсоединяясь от подружки посмотрел.

— Что? Нибудь.

— Н-ну... Сиянье какое... Облачко. Искры мерцающие...

Парень сочувственно взглянул на меня.

— А-а... звон? Такой... бубенцовый... З-звон... Нет?

Девчонка фыркнула, отвернулась.

— Эх, папик, — двинувшись дальше, ответил на ходу парень, — Закусил слабовато? Или

вечерний похмел после утренней опохмелки? Нормально. Только, папик, умоляю, не вздумай сигануть с моста, чтоб полетать над рекой. Ты не чайка. Ты — совсем наоборот.

Девчонка залилась фарфоровым смехом.

Сойдя с моста, я прошагал по улице Восставших Борцов, дошёл до Баррикадной площади, обогнул ее. Машин и людей было немного. Яркими неоновыми каплями на высоких стеблях цвели фонари. На одном из выездов с площади вразброс стояло несколько машин во главе с милицейским «бобиком». Лейтенант с сержантом что-то измеряли рулеткой и записывали. На асфальте валялся массивный железобетонный блок сложной формы — нечто паралелепипедное с вырезами-уступами — и неясного назначения. Рядом стоял скособоченный грузовик с погнутым бортом и другим таким же блоком в кузове.

Я подошёл ближе, поинтересовался у одного из зевак, что случилось. Оказывается, на повороте у грузовика лопнула шина, от крена одна из бетонных махин вывалилась через борт. Самое печальное, что упала она углом прямо на крышу стоящей справа легковушки (Какой черт дернул её встать именно там, за поворотом?) и вмяла крышу ниже капота как раз над головою водителя.

Из-за спин зевак я увидел фиолетовый «Бьюик». На изувеченной крыше, на бортах

застыли языки нарисованного цветного огня. У обочины стояла «Скорая помощь», которая вряд ли чем сможет помочь. Покорёженные дверцы «Бьюика» не открывались. В рваных прорехах разбитых окон было темно и зловеще тихо. Третий милиционер и санитар «Скорой помощи» ломиком пытались открыть переднюю дверцу, чтобы добраться к тому, что ещё недавно было живым человеком.

У меня пересохло горло.

«Ты уж прости меня... бывший... здоровяк... снобсчастливец... экс-управитель судьбы. Не я виноват. Я только взглянул на тебя пристально. Там, из-за пыльного стекла троллейбуса. Я просто разглядел твою близкую Конечную Станцию. Но и я не думал, что она так близко».

* * *

А ночью возник во мне Разметчик...

— Мик Григорьич! Мик Григорьич! — испуганно закричал я, видя, что его облик расплывается и готовится пропасть, — Мне — по край, позарез... Я уже... Мик Григорьич! Что случилось? Что-то случилось же, да? Могу я успеть? смочь?..

Разметчик задержался, взглянул на меня сурово.

— Ты не понял? Это не теплоход, отплывающий в туристический круиз. Двадцать лет — это двадцать лет. Взгляни на себя в зеркало. Ты плохо спросил. Ты в самом деле забыл.

— Что? а? да... Нет, Мик Григорьич. Честное слово, нет! Я глупец, я эгоист... Но я помню. Я вникся. Там. Навсегда.

— Скажи. Медленно. Себе.

— Помню. Наверное, то... «Твоя горечь — не горшая в мире. Никогда не горшая. Не жалея, не спасай себя. Это бессмысленно и безнравственно. Тебя спасут другие. Которых спасешь ты». Просто...

— Ну? — уже не столь строго усмехнулся Разметчик, — Что же ты примолк? Просто?

Душный ком в горле мешал мне говорить.

— Будь я проклят! — наконец, выдавил я, — Конечно, я негодяй... Столько лет! Все откладывал на попозже. Всё праздновал свои драгоценные неурядицы. Она... Что с ней, Мик Григорьич?

— Вот это ты ещё успеешь смочь, — сказал Разметчик исчезая.

5

Там. Тогда.

Велка первая протянула руки к сиянию и позвала.

— Иди до нас. Ну иди. Чо ты...

Я поначалу чуть-чуть сдрейфил. Но не показывать же это перед девчонкой. Я тоже протянул руки, — Да. Давай, иди...

Мы второй час были знакомы с сияньем. Мы встретили его на Копытце — маленьком круглом озере на окраине городка. Велку мать отправила пасти коз, а кому неизвестно, что у Копытца самая густая и вкусная трава? Не помню уже почему я увязался за ней.

Сиянье висело над тёмной лягушачьей водой и ждало нас. Оно было похоже на ком пушистой сахарной ваты. Только оно было живым, дышащим, в нём вспыхивали и гасли мириады серебристых искр. И цвет оно непрерывно меняло от густейше синего до облачно белого.

Я сурово оттер Велку плечом, вышел вперед. Мало ли что. Всё-таки мужчина я и старше Велки почти на три года. Но Велка без тени опаски вынырнула из-под моей руки, подбежала к воде, сказала сиянью, как старому знакомцу.

— Привет! Какое ты красивое! Поговорим, а?

Я хотел объяснить ей, что сиянье это — по-видимому, какой-то тонко-энергетический сгусток, что подчиняется он своим метафизическим законам, что проник он из каких-нибудь соседних слоёв астрала и что не может он с бухты-барухты понимать тебя и разговаривать с тобой —

пигалицей. Я, как-никак, уже перешёл в восьмой класс и кое-что смыслил в подобных вещах.

А сиянье вспыхнуло особенно яркими серебрянозелеными искрами, вытянулось в веретено, потом вдруг уплотнилось и приняло форму человеческой фигуры — девчоночьей нескладной фигуры... фигуры Велки. Оно понимало её. Оно было радо ей.

— Иди же!

Мы стояли над водой с вытянутыми вперед руками. Ждали. Пальцы начало нежно пощипывать. Хлынул к плечам, растёкся по груди, омыл лицо и лоб терпкий легкий ознобец. Сиянье надвинулось, мягко окутало нас. И окутав, пропало. Превратилось в тонкий малиновый звон-ветерок, тоже исчезнувший.

Все вокруг осталось прежним, может быть, лишь ярче, сочнее цветами. Но во всём что-то вдруг невидимо закипело, что-то залучилось, потекло во все стороны, что-то, не дающееся зрению и слуху. Трава на поляне, вода Копытца, белые спины пасущихся коз, стволы тополей, верб и клёнов, всё бурлило прозрачными неуёмными энергиями. Мы чувствовали их прихлывы неведомыми органами чувств, мы отчерпывали, пили их чем-то нетелесным в нас. Впрочем, и глаз иногда ухватывал следы этих энергий в виде чуть заметных размытостей предметов, коротеньких шлейфиков,

дымок, отвивающихся от них.

Потом мы увидели себя. Мы вынулись из себя и увидели себя совершенно отсторонне, двух подростков: пацана и девчонку, стоявших на берегу и вертевших во все стороны головами. Мы тоже битком были набиты энергиями, вокруг нас колыхались отсветы, ореолы, тонкие лепестки-протуберанцы этих весёлых энергий. Потом мы вернулись в себя и снова испытали чувство, будто окатились звонким мельчайшим дождём. Потом нас... целиком нас, вместе с телами что-то плавно подняло в воздух. Сделав два-три круга над Копытцем, мы опустились на прежнее место.

Потом, отдышавшись и отдохнув, мы полетали ещё, почему-то всё время над водой. Я держал Велкину руку, рука её была прохладной и спокойной. Над серединой озера она вдруг остановилась, посмотрела на меня расширенными обалдевшими глазами.

— Я вспомнила, — сказала она низким голосом.

— Чего?

— Вспомнила! Я хочу домой!

— Домой?

— Там!.. Я — оттуда! оттуда...

Кхи-ю-ю-хрсе-е-и-и-тси-и-ю-вфья-я-и-и... — дикое неприносимое слово она произнесла диким

немыслимым тембром.

И мы оба с высоты бултыхнулись в сонную воду Копытца.

Я вынырнул первым, завертел головой в поисках Велки. Я знал, что она очень плохо плавает. Велки не было. Я ждал, нервно мяся воду. Велка не появлялась. «Эт-того ещё не хватало!» — перепугался я и, набрав воздуха, нырнул снова. На дно... Где искать её? Что делать? Немедленно что-то делать... Велки нигде не было.

Дна тоже не было. Я стал всплывать. Я тарасил глаза в прозрачной воде в тщетных поисках...

Вдруг я увидел... Неведомое невозможное существо плыло под водой мне навстречу, махало руками, кивало головой, улыбалось... Похожее на Велку.

Похожее... НЕ ВЕЛКА!!

Светлое удлинённое тело (телом было оно? плотью? или ожившим сгустком странной воды?) изящнейшими извивами, без малейших усилий двигалось — невесомое, завораживающее... ступни ногплавники; вытянутые пальцы — перепонки меж ними... руки — тонкие, сильные, изгибающиеся во все стороны... ладони — перепонки поменьше, чем на ногах... кожа — плавный матовый отлив... кожа — не чешуя... округлые плечи... на груди под ключицами по два узких серповидных отверстия;

пульсирующие края-лепестки... жабры?.. колышущийся факел волос — тонкие нити, искрянный перламутр... лицо — узкое, длинное... лицо?.. бледная дымка-голубизна; конечно, лицо — подбородок, живые темные губы, нос... нос? значит, и лёгкие?.. глазищи-овалины, серебристые сливы, резкие желтые веретёнца зрачков...

Это... оно... она... медленно подплыла, дав себя рассмотреть... прикоснувшись ко мне неимоверно гладкими перепончатопальными ладонями... она сверкала глазищами; радостно говорила мне чуднейшие слова, состоящие из шипящих, свистящих и, наверняка, из ультразвуков...

Я вышел из оцепенения, почувствовал, что задыхаюсь, судорожно рванулся вверх... вверх!.. скорее — воздух... умру!.. вверх!.. круги в глазах... сколько ещё надо мной?.. всё, вот сейчас... умираю, все, ещё секунда...

Она помогала, подталкивала, мощно несла меня вверх, и я вылетел из-под воды, как торпеда, выпучив глаза, распахнув рот, всхлебнул-всчерпнул спасительного воздуха, испуганно заорал, замолотил руками-ногами, отпихивая в воде это... эту... её...

Я доплыл до берега, еле живой выполз на травянистый склон. Пролежав минуту в забытьи, вскочил. Вспомнил. Велки же по-прежнему не

было! Повернулся к озеру. Вздрыгнул. Боже мой!.. Велка была. Велка подплывала к берегу, выбиралась из воды, приближалась, плюхалась на траву рядом со мной. В своём мокром прилипшем к худому животу ситцевом платице. С мокрыми спутанными волосами. С веснушчатым мокрым лицом. Велкиным... Велка. Настоящая. Обыкновенная. Улыбающаяся до ушей. Счастливая.

— Ты! Ты где? Ты куда? Ты-ы! Что значит?..

— Как здорово, Иго-орь! У-у-й, кла-а-с-с! — блаженно лыбилась Велка, лежа на спине, раскинув руки, не обращая внимания на слишком задравшийся, слишком попрозрачневший от воды дурацкий свой ситец, — Ну да-а. Я же и чувствовала же... правильно. Я же... Во мне... Я же помню же себя. Во-от! Наконец. О-бал-деть!

— Ты! Ты... вообще соображаешь... хоть каплю! Безмозглая дура! — рычал я над ней, сжимая кулаки. Очень хотелось закатить ей оплеуху. Мой недавний перепуг страчивался из меня облегчительной злостью, — Где ты была? Что там было? Перестань лыбиться, дура! Щас кэ-ак!..

— Ой, Игорюша-а! — невыносимо ласково смеялась Велка ответ на мою грубость и злость, — Не-во-мож!.. Ты не понял ещё. Да... Рубежный океан. Какой океан? Рубежный. Он был на Земле. На той. И есть. Оттуда. Я была... И ты тоже был. Гдето... Всё было. Всё будет. Страшно сложно.

Ужасно просто. Я чувствовала. Рубежный океан. Что я... Я себя, ту... Копытце связано с Рубежным океаном. Оно часть его. Я...

Велка дрожала. Я потрогал её лоб. Он не был горячим. Зрачки её были слишком велики, слишком блестящи.

Солнце проваливалось за дальние холмы. Белые козы, спустившись к Копытцу, не торопясь пили.

6

Чуткому человеку не так уж много надо усилий, чтобы понять. И приять. Детям никаких усилий вообще не нужно. Чем старше, черствей человек, чем глубже втянут он в жерло технократизации, чем более смят он аморальным социумом, тем сложнее ему перекинуть этот мысленный мост. Мост от тесного радио-островка на котором он обитает и который заносчиво именуется цивилизованной жизнью к сущному пространству себя... себе подобных. Пространству, где тело — результат движения, преобразья, морфформа, а причина движения-морфформа — душа. Которая туннельна и связуема с бесчисленными состояниями Внутренней Вселенной. Состояниями, где наши привычные «верю-не верю», «могу-не могу» — шелуха-бесмысл.

* * *

Эгей, Велка-Велка, Велка-ветка, веточка, прутик ивовый-крапивовый, тех Згинских лугов-озёр, нашей пыльной яблоневого улочки подружка моя: июльский облупленный нос, пропечённые солнцем ресницыморгалки, шоколадные ссадины на коленках, платице — ромашковый ситчик!.. Где оно всё? Слишком хорошей подружкой ты там была, слишком подругой была здесь и смотрела всегда слишком понятно и прямо. Ничего не загадывая... Зря! Или так казалось мне? Потому и остались мы с тобой всего-то друзьями. Не это ль причина всех наших невзгод? (Мне б понять это во-время, мне б!)

А скручена ты житухой-жистянкой тутошной, похоже, позлей моего. Неладно что-то с тобой. Велка. Вела. Велита. Выглядишь ты не ахти... нет, даже не в том — ни прочерки серебра в темнокаштане твоих волос, ни в заботу изодневную сложенные приспущенные углы губ, не изгиб натрудной складочки над переносьем; ни в том... и ни в тонкости-стройности фигуры твоей, уже менее смахивающей на грациозность от умных диет, а более — на нездоровую худобу... Ни в том. Другое. Тень плохой, темной усталости на тебе, тень безвыхода, обреченья. Что? Почему? Не так же

было семь лет тому... Семь лет! Семь лет я тебя не видел. Ни случайного даже разу. Семь лет. Живя с тобой в одном городе, в часе езды-ходьбы. Какой же я!..

Я не говорю этого вслух. Я хочу, я обязан видеть в её глазах обиду, укоризну, самую жестокую обидуукоризну, самую острую неприязнь. Нет. Я вижу лишь влажную радость встречи, благодарность, что пришёл, наконец. Наконец. За семь-то лет. Соизволил. Благодарность... Я опускаю взгляд.

— Вел... Вела. Скажи же, что я скотина. А? Скотина же я... Семь лет!

— Не глупи, — улыбается она, — Значит, был занят. Мне и самой, бывало, не продохнуть. Молодец, что пришёл. Ты же пришёл не в последний раз?

— Ты так до сих пор... одна?

— Почему одна? С Лёнчиком.

— Да, я помню. Сколько лет ему? Десять?

— Эх ты! Двенадцать уже.

— А где он? — смущенно заглядывался я.

— Во дворе играет. Скоро придёт.

Замолчали. Сквозняк в душе. Свербящая пустота.

Я вдруг сказать захотел... Огромное. Важное. От чего все бы переиначилось, перетряхнулось. Длинно, горячо, громко, мелодрамно-красиво.

Сказать... Что из всех моих сожалений о прошлом лишь одно — доподлинное. Из всех моих промахов и просчетов — один просчётище. И всё не так, потому что одно не так. Потому... Потому, что Лёнчик твой, Вела — не мой Лёнчик. И что мы с тобой — это не мы с тобой. Это я и ты, всего лишь. А двадцать лет — это двадцать лет. Этот горячий и вкуснейший кусок жизни... который нам на двоих не отмерился, не отпробовался нами... И что всё ещё, может быть, не совсем, не навсегда, не безнадёжно пропаще. И да благословенно будь нынешнее утро! Когда пришёл я к тебе и увидел здесь пред тобою себя. Не сказал. Но посмотрела Вела на меня по-иному, изглубока, что-то очень серьёзно. Не сказал? Гм... Слова не единственный и не лучший способ сказанья.

— Ты знаешь?.. Зга... Что-то там происходит.

— Знаю.

— Что? Мик Григорьич? И в тебе?

— Да.

— Значит, и ты? Ты тоже?

— Да. Я ждала тебя, Игорь. Да. Я согласна. Хотя, очень боюсь. За Лёнчика.

— Лёнчик тоже згинец. Раз он твой сын, он — згинец. Сподобный. Нас трое всего. На весь этот город.

— Нет, — усмехнулась она, — Не всего.

— Ах, чёрт! Пенёк... Конечно. Совсем забыл

про Пенька.

— Да. Пенёк.

— Живой он, Пнище? Как он сейчас?

Глава вторая

— *А кто такие мы сами?*

Геберт Уэллс

1

Двадцать лет назад подозрительным образом Зга перестала существовать. В истории невеликого захолустного населённого пункта была поставлена властная точка. Выводы официальной научной комиссии, исследовавшей Згинский феномен, были ужасающими. Из глубин тектонических разломов земной коры, расположенных как раз под Згою, обнаружились умопомрачительной мощности излучения неизвестной природы. Одно из них близкое к гамма-лучам. Если так, то все до единого жители городка обязаны были давно и неукоснительно погибнуть. А жители жили себе в добром здравии, ели, пили, любили, рожали детей. И дети были крепки и благополучны. И довольны были все собою, друг другом и своим городом...

Впрочем, городом Зга величалась с изрядной

натяжкой. Памяти ради — да, был когда-то неслабый провинциальный городок. Был в нём целлюлозно-бумажный завод, была мебельная фабрика, был завод химической переработки древесины. И древесины этой в окрестных лесах было предостаточно, а значит, и работы для большинства местного населения.

Но постепенно леса потратились безмозглым хозяйствованием. Производство пало. Згинская бумага, згинская мебель потеряли конкурентоспособность. В конце концов и заводы и фабрика вовсе закрылись, вывезлось, распродалось оборудование, закупорились двери, снялись вывески, исчезли предприимчивые управленцы. Остались бесхозные здания с пыльным бедламом внутри.

По этой печальной причине многие згинцы лишились работы, а Зга лишилась немалой части своего населения. Кто мог и хотел уехать — уехали. Оставшиеся свыклись с обстоятельствами, приспособились и жили себе ни богато — ни совсем уже бедно, но в ладу с собою и друг с другом.

На статус города Зга уже никак не тянула и именовалась спотыкуче-коряво — п.г.т. — посёлок городского типа. Именовалось в документах, в официальной форме. Но не самими жителями. Ни один уважающий себя коренной житель не оскорбит

свою замечательную Згу каким-то несуразным «пэгэтэ».

Згинцы любили свой город и гордились им. И имелись-имелись у них причины гордиться, давние и необыденные причины.

И всё бы шло хорошо и ровно. Если б не новая каверза. Если б чуткое и бдительное государство не соблаговолило вмешаться в их жизнь.

Так вот... Некоторое время комиссия напряженно думала, что делать с аномальным населением, писала отчеты, рапортовала правительственным полпредам. И полпреды решили: недоразуменно живых згинцев срочно переселить за двести километров в барачного типа временный посёлок под медицинское наблюдение, а Згу объявить чрезвычайной зоной.

Однако, згинцы переселяться в бараки наотрез отказались. Представители властей попытались, было, применить привычные силовые методы. Но сотни брошенных для эвакуации автобусов и автофургонов не смогли завестись — у всех враз разрядились аккумуляторы и сбилось зажигание. В то время, как машины, выполняющие свои обычные местные функции, заводились исправно. А всех прибывших эвакуаторов, как военно-милицейских, так и штатских в одночасье постигла острейшая головная боль, не снимаемая никакими

медикаментами. Тогда, как у местного населения с головами был полный порядок.

Оттого спешка и ажиотаж прекратились, и власти терпеливо выслушали переселенческие условия жителей.

Затем невесть чьим мановением прекратилась вообще всякая окологинская деятельность, все комиссии и полпреды были отозваны в столицу для высшего совещательного анализа. Что происходило в столице — неизвестно, по-видимому, что-то весьма нешуточное, хотя и небыстрое.

Через три месяца явилась другая комиссия, более академическая, и другие полпреды, более высокого ранга. И даже прибыл — ни много-ни мало — заместитель премьер-министра, собственноручно прошёл по улицам городка, попил воды из колодца, понюхал сирень в палисадниках и предложил згинцам такие условия переселения, какие им и в хмельном сне не могли присниться. Они вольны были выбирать любое (!) место жительства, любые(!) — он особенно убивал всех этим словом — жилищные условия, престижное трудоустройство. Для молодёжи — внеконкурсное поступление в самые недостижимые учебные заведения. И кроме того, был утверждён правительственный реестр льгот для жителей. Посему, каждому полнолетнему згинцу вручалось гарантийное письмо-договор за подписью самого

премьер-министра.

Пока ошарашенные свалившимся счастьем жители упаковывали и укладывали в контейнеры вещи, произошло событие страннейшее. К замысловатостям и загадкам вообще згинцам было не привыкать, они рождались, росли и старились среди них. Но это поставило всех в лёгкий тупик.

Вокруг городка внезапно, в одну ночь возникла Кайма. Матово-белесая, как утренний туман, лента высотой метров в тридцать, без толщины опоясала город. Она была неколеблема ветром, нерастворима дневным теплом, проглядна, проницаема для лучей солнца, для людей и машин, для всего живого и неживого.

Но не так просто всё обстояло с этой лентой. В человеке, проходящем сквозь неё за пределы Зги, что-то словно переключалось, перехлёстывалось, и терпкий тревожный вихрь омывал сознание.

С какой целью, по чьей воле Кайма отделила Згу от прочего мира? Что означено этим? Что будет теперь здесь, а что там? Об этом спросил себя каждый згинец и призадумался.

Но затяжно задумываться было некогда, контейнеры с вещами стояли уже на грузовиках, автобусы ждали переселенцев, поторапливали жителей учтивые представители власти, и у каждого отъезжающего имелось лучезарное премьерское письмо — пропуск в цивилизованный

рай.

И вот наконец автоколонны тронулись, благополучно прошли сквозь Кайму и безмятежно покатали по шоссе.

В Зге осталось лишь несколько десятков упрямейших стариков и старух, да людей, не имевших родственников, не могущих психологически или физически пережить катастрофу переселенья, отвергших все уговоры-посулы и пожелавших дожить свой век здесь. На них махнули рукой.

Было и ещё одно событие, случившееся много раньше, смутившее всех згинцев — исчезновение Разметчика.

Разметчик был живым божеством, сокровеньем Зги. Недостигаемый, непостижимый ни для кого. Доступный и свойский каждому, обычный, как сосед за стенкой.

Он жил в маленьком бревенчатом домике на окраине нашего района, рядом с трансформаторной подстанцией. И все знали, что когда он ложился спать, по всему району падало напряжение в электросети, свет был тускл и вял. Когда он просыпался — спал он всего два-три часа в сутки — лампы в домах загорались ярко и бодро. Он был один. Но он мог оказаться сразу в нескольких местах, общаться сразу со многими, делать множество разных дел. Хотя, в сущности, он делал

только одно дело. Он сподабливал згинцев.

Он никогда не говорил об Этом прямо. Легчайший намёк, летучая фраза, странное слово. А более — выблиск бронзовых глубоких глаз. Усмешка изпод усов. Пожалтье иль косновенье жесткой ладони...

И у многих — у кого слабей, у кого ярче — возникал в смутных окоулках души светозайчик и показывал сокрытое там. Ожидание «Нечта». Все знали, что Это когда-нибудь будет. При их ли жизни, при жизни ли их детей, внуков... Может быть, завтра, может быть, через сотню лет. И надо быть готовым. Готовы были не все.

С некоторыми Разметчик встречался особенно часто и говорил откровенней, чем с остальными. Они были посвящены, сподобны в большей степени. В их числе был я.

Разметчика звали Мик Григорьич. Настоящее его имя, возможно, было непроизносимо для людей.

Он жил в Зге вечно, не старясь, не боля, не изменяясь внешне. Он не покидал Згу ни разу, ни на один день.

А за два месяца до странной триумфальной эвакуации города он исчез.

Он появился лишь через двадцать лет. Во мне. Прошлой ночью.

Наверное, вид у нас был глуповатый.

— Как это не знали? — удивился Пенёк, — Вы что, ли в Америке жили?

— Не знали, — отрезал я, — Да, не знали. Долетало кое-что. Обрывки, галиматья... Чему было верить? От кого — знать? У меня нет родственников в Зге. У неё тоже, — кивнул я на Велу.

— И что, ни каких предчувств? Ничего не накатывало на вас?

— Мысли приبلудные. Промельки снов, путаница.

— Нет, — почти шепотом сказала Вела, — у меня не промельки. У меня раза два были... картины. Странные. Я просыпалась, гнала эти сны. Старалась забыть, не верила.

— Не сны это, ребята, — вздохнул Пенёк, — Если бы сны. Мнэ. Я был там. Зимой.

— Зачем? — спросил я.

— У меня дядька. В Солотове. Он мне вместо отца... был. Я на похороны ездил. Там мне порассказали... по большому секрету.

— Так Солотово, это ж где!

— Всё верно. Не близко. Три часа машиной до Зги. Мнэ. Да только никто не ездит туда. Ни машиной, ни пешком, никак.

— Ну понятно, зона.

— Ничего не понятно тебе. Не зона это уже. Была зоной...

— Слушай! — разозлился я, — Ты можешь рассказать вразумительно, всё по порядку? Не мутить воду.

Он философски воздел взгляд к потолку.

— Жалко, ребята, что вы не прихватили ничего выпить.

— Н-ну извини. Мы как-то... Думали, будет не до этого. Серьёзные вещи.

— Серьёзные. Мнэ-э, — задумчиво теребил он щетину на подбородке, — О-оч-ч... серьёзные. До того серьёзные, что нам просто не обойтись без бутылки. Вы погодите пять минут, я сбегаяю к Горынычу позаимствую. У него есть. Сиди-сиди, отдыхай. Дело своё. Сосед мой наверху. Гаврилыч-Горыныч... Отдыхай. А Вела... конечно-конечно, похозяйничай — что-ни-будь на закус, там на кухне, всё, что найдёшь. Я щас.

Пенёк исчез. Вела звякала тарелками, хлопала холодильником.

— Тебе помочь? — крикнул я.

— Я сама. Не люблю, когда мужики путаются на кухне.

Я оглядывал Пеньково жилище. Я бывал здесь несколько раз. Давно, в первые годы нашей внегинской жизни. Ничего здесь не изменилось. Или я забыл... Ничего. Я изменился. Вела

изменилась. Пенёк остался почти прежним.

Пенёк... В детстве-юности я знал его неблизко, он жил на соседней улице. Да и здесь мы встречались лишь по большим праздникам, не как друзья-закадыки, просто, как земляки. Это первые годы, а потом всё реже, урывочней и в конце концов почти забыли друг о друге.

Пенёк был столяром Божьей благодатью. Он делал столы, кровати, стулья. В подвале, в его маленькой мастерской было уютней, чем здесь в комнате. Хотя и здесь вся мебель была сработана его руками. Если бы Пенёк был предприимчивей и благоразумней, он стал бы одним из самых богатых людей в этом городе.

Дело в том, что он мастерил не просто стулья-кроватьи. Он делал странную мебель. Он говорил, что она живая, и это было не такой уж неправдой.

Металл, пластмасса, стекло не имеют души и жизни, у них есть лишь состояние. Дерево имеет душу и жизнь. — Так же, как человек, — утверждал Пенёк.

И когда жизнь самого дерева гаснет под топором или пилой, жизнь души дерева продолжается в древе-сине, в том, что из неё сделано. И если деревянные вещи равнодушны к человеку, они безлико служат ему, лишь выполняют своё предназначенье и душа их спит.

Если же они, в ответ на любовь человека, примут и полюбят его, они сделают его жизнь счастливой.

— Уж я знаю, — глубокомысленно ухмылялся он, — Сам раньше был лиственницей. Что не веришь? Ну и дурак.

Был он лиственницей, или не был, вопрос смутный. Кстати, Пенёк — вовсе не кличка, а именно фамилия, чуть смягчённая, с подвинутым ударением, на самом деле, по паспорту — Александр Пынек. Случайность?

Он делал свои стулья-кровати очень медленно. Никогда не лакировал их, лишь покрывал легким слоем морилки. Вещи его были неброски, не вычурны, не роскошны и далеко не всем нравились. Он никогда не продавал их кому попало. Он делал стол, стул или кровать на заказ, на человека, как шьют костюм или платье. Он знакомил заказчика с вещью и, если вещи не нравился человек, он вежливо отказывал ему в заказе и возвращал уплаченные деньги. — Я делаю вам не стул, — говорил Пенёк, — Я спосабливаю для вас друга. Он может жить только с вами. Для других он будет пустой деревяшкой.

Многие посмеивались над его рассказами, не принимали их всерьёз. Некоторые верили. Были у некоторых основания верить. Были... Час отдыха на сработанном им стуле равнялся нескольким часам спокойного глубокого сна. За столами его

руки спорилась самая сложная работа, решались самые заумные задачи, сводились к общему ладу самые непримиримые мнения. На кроватях, сделанных в его мастерской, сладчайше спалось и любилось, и дети, рождавшиеся от этой любви, были необычно красивы. Ребёнок, спавший в детской кроватке Пенька, почти ничем не болел и развивался быстрее сверстников.

Почему так происходило, никто не знал, и сам Пенёк знал немногим больше других.

— Всё дело в вас, — туманно рассуждал он, — В том, насколько вы сможете простишься деревом-сутью, потоками наивов его: наивом терпения, наивом незлобства, наивом честности, прямоты... Дерево проживает каждый год по одной жизни, маленькой, но полной жизни: от весеннего рожденья-расцвета, до летнего плодоносья, до осеннего увяданья-старости и зимней смерти. Потому в нём, в дереве — великие силы новоначал, преодолений, совершенствий. Дерево не умеет сдаваться судьбе. И подлым, и трусливым быть не умеет. Оно поделится с вами своим величием и покоем. А из вас примет вашу тщету-суету и погасит её в себе. Если заслужите.

Первые годы заказов у Пенька было пруд пруди и зарабатывал он весьма недурно. Но постепенно своей манерой по многу раз переделывать уже законченную вещь, своими

придирами к людям, назойливым копаньем в их биографиях, пристрастных допросах, душеспасительных поучениях во имя благородной цели — подружить человека и вещь — он отворачивал от себя заказчиков. Не каждому понравится, когда не стул делают для тебя, а и тебя самого переделывают для твоего стула. Люди имели самолюбие. Многие — болезненное. Люди хотели стулья просто изящные, а не умные, кровати просто красивые, а не добрые. Столы — удобные, а не участливые, и вообще не желали, чтоб мебель, а тем паче, какой-то вздорный коротышка — мебельный мастер, лезли им в душу.

Пенёк мог делать и обычную мебель: лакированно-полированную, изысканную, шикарную, на самый амбициозный вкус. Но не делал принципиально. — Тогда они перестанут меня уважать, — шепотом говорил он, не поясняя кто. Стулья-кровати его? Какие-нибудь духи-идолы, покровительствующие его ремеслу? Бог весть. Но мути-мистики вокруг своей работы Пенёк напускал чересчур многовато. Поэтому клиентура его сделалась редкой и незажиточной: чудаки-интеллигенты, закомплексованные альтруисты, творчески подвинутые люди.

Пенёк еле-еле сводил концы с концами. Так было раньше. И, судя по всему, так оно и осталось.

Вела принесла, разложила закуску: что-то

консервно-сардиновое в тарелке, нарезанные розеточками помидоры, бутерброды с колбасой и плавленым сыром. Вернулся Пенёк с бутылкой рома. Сели.

— Давайте за нас, — провозгласил Пенёк, подняв рюмку.

— За Згу, — добавила Вела.

— За Згу, пожалуй уже и не... — поморщился Пенёк, — Хотя... За Згу. За ту. Нашу.

Выпили.

— Мы ждём подробностей, — напомнил я.

Пенёк скучно жевал бутерброд.

— Ты нас не очень сильно удивил, — продолжил я, — Чем вообще можно сильно удивить нас? Згинцев.

— Бывших, — уточнил Пенёк.

— Настоящих! Не надо. Пускай и выхолощенных этой жизнью. Настоящих.

Пенёк вздохнул, налил ещё по одной, сам первый выпил.

— То, что Зги не существует в прежнем своём облике, мы знаем.

— Не существует, — кивнул Пенёк.

— Город без жителей. Его полностью изолировали от мира, стёрли с карт. Многие поразрушили, наверное, сровняли с землёй, да?

— Сровняли, — меланхолично подтвердил Пенёк.

— Понастроили каких-нибудь научных корпусов, радиологических лабораторий, контрольных модулей...

— Понастроили.

— Но дело у них не заладилось. Что-то их там весьма огорчало. И тогда решили они попробовать какиенибудь сильнодействующие средства. Так?

— Точно.

— Какие?

— Бомбу.

— Бомбу?!

— Бомбу-бомбу. Атомную, причем.

— Боже правый! Зачем? Как?

— А чего там... Опустили заряд в Ствол. Радиоуправляемый, наверное.

— В какой Ствол?

— Канал там такой образовался. Под землёй. В нём, якобы, находился источник излучения.

— Но причём здесь бомба?

— Ну как. Ясно же, что под Згой, в глубине было... Что-то. Испугались они. Очень испугались. Видимо, это что-то показало, как оно к ним относится.

— Ерунда какая-то, — покачала головой Вела, — Что там могло быть страшного? Это же Зга. Что бы ни было, оно не может причинить вред человеку — вы же знаете.

— Мы знаем, — пояснил я, — Они — нет.

Страшно то, что непонятно.

— Но они же намеревались изучать это? Хотели построить научный комплекс. Поэтому и переселили згинцев.

— Вначале и построили и изучали, — подтвердил Пенёк, — Но, наверное, не так, как надо.

— Ещё бы, — сказал я, — Как можно изучать то, что нельзя изучить в принципе? Этому можно сподобиться. Сподабливаться. Всю жизнь. Не одну жизнь. Наверное, им вежливо намекнули, чтобы они проваливали. Неужели ни один из учёных корифеев так ничего и не понял?

— Там были не только учёные. Там всё под себя подмяли военные. Секретный стратегический объект. И значит, цели у них были — соответствующие. И методы.

— Вот как? Тогда — ещё яснее. Но всё же, с чего такой перепуг? Что им явилось?

— Не знаю, — пожал плечами Пенёк, — Но после этого они и заложили бомбу.

— И-ди-о-ты! — прошептала Вела.

— И что? — подобрался я.

— Ничего, — скучнел Пенёк, — Бомба возьми и взорвись. Говорят, случайно. Наверняка, врут. Мнэ. И получили они... это своё «что-то». Как на блюдечке. Бери и кушай. Накушались все. До отвала. Все.

— Взрыв под землёй был? — судорожно глотнув, спросил я.

— Конечно. Но лучше бы он был на поверхности. Чтобы сразу — ничего и никого.

— Ну? — торопил я Пенька.

— Гну. Как это в библии?.. Содом и Гоморра... Только тихие, медленные. Мнэ. Что ещё хуже. Потому что никто не умер. Намного хуже. Потому что и не жив никто. В том смысле, что... Вот. То, что происходило в радиусе пятидесяти километров... Содом и Гоморра — «Весёлые картинки» против того. Мнэ. Знаете, был такой журнал для детей.

— Что происходило? — раздражённо рявкнул я, — Пень, кончай туман напускать.

— А то! Я говорю, что мне говорили. Я видел, что ли? Хрен его знает. Зло происходило. Злой абсурд. Бред. Всё почувствовали — спинным мозгом, шкурой своей. Те, кто далеко от этого был. А кто близко, кто видел, тот... Тот — там. И никуда оттуда...

— Погоди, Саша, — Вела всегда обращалась к Пеньку только по имени, хотя он сам больше предпочитал свою колоритную фамилию, — Ты уверен, что рассказали тебе правду? Это не может быть правдой.

— Ты лучше знаешь, да? — обиделся Пенёк, — Ты там была, а не я, да?

— Не была, — нахмурилась Вела, — Но... Как же так? Силы Зги — гуманные силы. Всегда были такими. Столько лет! Они до сих пор — в нас. Как они могут обернуться против людей? В голове не укладывается.

— А у меня укладывается? Наверное, этот взрыв поменял там все плюсы на минусы.

— Скорее всего, — рассудил я, — взрывом бомбы они хотели закупорить Ствол и погасить излучение. Почему только взяли атомную? Как вообще было можно, кто разрешил им такое? Наверное, надеялись, что сконцентрированная радиация подавит источник излучения. Но Ствол у них не закрылся, излучение не погасло, а усилилось. И самое печальное — изменилась его структура. И вместо благотворного влияния на людей, оно стало действовать наоборот.

— Может быть, — согласился Пенёк.

— В чём это конкретно выражалось? Что всё-таки стало с людьми?

Пенёк молчал, уставившись в точку на столе. Скуластое лицо его старилось от трудной невнятной мыс-ли.

— Пускай с чужих слов, с чужих страхов. Ты можешь сказать?

— Что-то видно, не понял я, — с усилием произнёс он, — Уже... не связывается. Разное говорили. Никто ничего толком. Посторонние

люди. Мнэ. Кому верить?

— Именно, что посторонние, — подтвердил я, — Они не могут понять. А мы — можем.

Пенёк поднял голову, подозрительно оглядел нас.

— Что-то ещё случилось? С вами? Я вижу.

— Случилось, — мягко сказала Вела, — Мы не просто пришли к тебе.

Пенёк вздохнул, потянулся к бутылке.

— Погоди. Давай говорить. Это потом, — отодвинул я стаканы.

* * *

Когда-то мы восприимем всё. Мы когда-то приблизимся наконец к этой Грани. К плёнке углового пузыря, в котором мы обитаем. Когда-то Грань расколется, защитная плёнка лопнет, и мы родимся в действительности. Мы — человечество. Человек, состоящий из человек. Мы вновь изумлённо обнаружим друг друга, соприкоснёмся друг с другом новенькими внезапными энергофибрами. Заработает в каждом из нас наше сообщное мега-чувство.

И потрясением, не сравнимым ни с чем прежним, мы поймём, кто мы.

Мы восприимем неистовоцветные пены звёздных скопищ, роскошный гравитационный